

БОРИС
ПОЛЕВОЙ

МЫ
СОВЕТСКИЕ ДЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Последний день Матвея Кузьмина	5
Гвардии рядовой	13
Горсть земли	27
Номер „Правды“	38
Разведчики	45
Ее семья	55
Друзья	66
Рождение эпоса	75
На волжском берегу	97
Редут Таракуля	104
Братья Волковы	117
Мы — советские люди	127
Знамя полка	145
Ночь под рождество	155
На военной дороге	170
Мама Клава	188
Могила неизвестного солдата	199
Мария	213
Побратимы	221
Пан Тюхин и пан Телеев	234
Земляк	254
Сапер Николай Харитонов	276
Свой	288
Передовая на Эйзенштрассе	314
Сбылось!	329
Елка	340

БОРИС ПОЛЕВОЙ

МЫ-
СОВЕТСКИЕ
ЛЮДИ

БЫЛИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

800114685

Советский фильм

*Решением Совета Министров Союза ССР
ПОЛЕВОМУ (КАМПОВУ) Борису Николаевичу
за книгу рассказов «Мы — советские люди»
присуждена Сталинская премия второй степени
за 1948 год*

ОТ АВТОРА

В этой книге нет вымысла.

Мне не приходилось искать сюжет, выдумывать характеры. Проскитавшись четыре года Великой Отечественной войны по фронтам в качестве военного корреспондента «Правды», я познакомился с сотнями самых различных советских людей, проявивших беспримерную храбрость, мужество, стойкость воли, великую необоримость духа. Высокая большевистская идейность освещала их дела. Любовь к социалистической отчизне вдохновляла их на подвиги непревзойденные, поддерживала их в труднейших испытаниях, давала им силы. Встречаясь с такими людьми или с теми, кто их хорошо знал, был их товарищем в борьбе, я подробно записывал их рассказы, мечтая когда-нибудь поведать о них советским людям.

В эту книгу я собрал рассказы о тех, чья судьба кажется мне наиболее интересной. Это не выдуманные герои. Это солдаты, офицеры, рабочие, крестьяне, интеллигенты. Это вооруженные советские люди, защищавшие свою Родину. Большинство имен и названий в этой книге подлинные. Каждый действующий в ней человек живет или жил.

Это книга о простых, о маленьких, о великих советских людях, которых ни сломить, ни покорить нельзя.

Борис Полевой

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюди-мом.

Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил — с собакой, с допотопным ружьишком за плечами — в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупичатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он исправно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, кто рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхозе «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горно-стрелковой дивизии, командир батальона, кото-

рому кто-то донес о мрачном, нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», предстояло без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру батальона, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести их в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное, мечту охотника — двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знаатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо,— сказал, наконец, Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер.— Переведите ему, он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тому, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал. Найден надежный проводник. Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых, холодных лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему советских людей, этой хмурой, коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пенек мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать, не раздеваясь, и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих странных фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена, предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи.

— Половину вперед, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола широкой жилистой, узловатой рукой и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся он в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А немцы тем временем готовились к выступлению. Офицер сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал старое письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли,— писал он,— вот уже месяц, как я начал это письмо и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня нехватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ

к этой проклятой, загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат, это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархо-охотнике, с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Когда стемнело, горно-стрелковый батальон на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем,— и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились немецкие стрелки громадным вековым лесом. В потемках они натывались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, па-

дали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную, растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел, наконец, на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает,— сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних оставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь, смотрел на розвое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими снежными полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито лущившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает,— повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы били совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, оседали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пуле-

меты секли и секли снежную равнину, огнем своим сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, немцы кинулись было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса метались по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, офицер бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его борodu, развевая седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил за тем, как стадом овец, даже не пытаясь обороняться, метались немцы.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом нервным рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски и бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул, что было мочи, во весь свой голос:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но тому не удалось уйти. Не сделав и двух шагов, он упал подрубленный пулеметной очередью.

А вдали, в овраге, уже возникло и, нарастая, гремело «ура». Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних немцев, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес, по следам, оставленным на насте. Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг он застыл, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его похоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями комьями мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых врагов, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

Майор — человек, по всей видимости, бывалый, собранный и, как все настоящие воины, немногословный — рассказывал о нем с нескрываемым удовольствием:

— И еще есть у него странность, и не странность, пожалуй, а особенность, что ли. Не может видеть живого немца. Я не преувеличиваю... Ну, конечно, каждый из нас имеет с Гитлером, помимо общественных, и личные счеты. Всех нас он от мирных дел оторвал, тому семью разбил, того крова лишил, у того брат или отец убиты, ну, а кто, как мы с вами, побывал на освобожденной территории и своими глазами видел, что они над нашими людьми творили, те, конечно, особо.. Однако тут дело иное. Он ну просто физически не переносит их вида. Мне раз докладывали: стоит он в очереди за супом у взводной кухни, а мимо пленных ведут. Ну, знаете, у нас народ не злопамятный, кричат им: дескать, отвоевались, голубчики! Ну, насмешки там разные, шуточки. Кто-то им хлеба дал. А он как побледнеет, как затрясется. Бойцы: «Что с тобой, чего ты?» А он с кулаками: «Не смей им наш хлеб давать, не смей!» Зубы стиснул, губы шепчут что-то, вот-вот на пленных бросится. И потом, как провели их, все успокоиться не мог. Ушел и обеда не взял... А в другой раз целая история вышла. Назначили его в наряд — немец пленных караулить. Кто уж это сообразил, так я и не дознался. Он к старшине, чуть не плачет: «Осво-

бождай, не могу!» Тот, понятно: «Что за «не могу», встать, как надо! Повторить приказание...» А он свое: «Освободите, не стерплю, перестреляю их, хоть они и пленные». Старшина в раж: «Я тебе покажу, «перестреляю»! Под арест!» Пошел он под арест, и как ремень да гвардейский знак с него снимать стали, он как залетит в три ручья... Ну, тут мой комиссар подоспел, вмешался, приказ старшины отменил, знак ему сам привинтил, кое-как успокоили...

В это время тонкий голос спросил из-за двери:

— Товарищ гвардии майор, разрешите войти?

— Да, да,— сказал майор, и его хриловатый, простуженный баритон как-то сразу потеплел.

Кто-то невидимый в ворвавшемся со двора облаке морозного пара решительным рывком распахнул дверь, четким шагом протопал по деревянному полу и, звучно стукнув каблуками, взял под козырек:

— Товарищ майор, по вашему приказанию, гвардии красноармеец Синицкий прибыл.

В полумраке темной пустой избы, куда свет проникал через единственное уцелевшее, да и то на две трети заткнутое соломой окно, перед нами стоял щуплый подросток в полной военной форме. Он выглядел настоящим бойцом, только уменьшенным раза в два. Лицо у него было круглое, курносое, совсем еще детское, с пухлыми губами и нежным пушком на румяных щеках.

Но все: и то, как ловко и складно сидела на нем форма, как туго был перехвачен ремнем крохотный армейский полушубок, как лихо заломлена была у него на голове ушанка, и то, как твердо держал он приставленный к ноге короткий кавалерийский карабин,— отличало в нем опытного бойца, прочно выросшего в суровый быт войны.

С виду можно было ему дать лет тринадцать — четырнадцать. Но две тоненькие, словно вычерченные иголкой, по щекам возле губ морщинки да какой-то слишком уж спокойный для его возраста взгляд больших и чистых глаз говорили о том, что и пережил и перевидал он за свою жизнь уже немало, и придавали его лицу взрослое, умудренное выражение.

Майор с нескрываемым удовольствием смотрел на этого brave маленького солдатика, стоявшего перед ним навтыжку. Теплые и веселые искорки зажглись в уголках усталых, красных от долгой окопной бессонницы глаз этого бывалого офицера. Но отрекомендовал он подчеркнуто официально:

— Познакомьтесь, гвардии красноармеец Синицкий Михаил Николаевич, минометчик и снайпер, сын нашего полка... Вольно. Садись, Михаил, за стол, гостем будешь.

Мальчик сел и без особого повода, отогнув меховой обшлаг полушубка, взглянул на великолепные золотые часы-секундомер. Мне показалось, что он куда-то торопится.

Сын полка! Так звали в гвардейской части, которой командовал майор Куракин, этого необыкновенного маленького солдата. И с кем ни пришлось мне тогда в этом полку говорить, все произносили эти слова любовно, без шутливого снисхождения, с которым обычно взрослые говорят между собой о подростках, волею случая попавших в их среду. И все охотно рассказывали различные случаи из жизни этого маленького человека.

Вот она, история Миши Синицкого, воспроизведенная по рассказам его однополчан, после того как я снял с нее некоторые явные прикрасы и преувеличения — наивный дар бескорыстного солдатского уважения.

До войны Миша жил в деревне Ивановке, Андреевского района, Смоленской области, обычной жизнью колхозных ребят. Зимой бегал в школу, гонял на коньках по пруду, катался с гор на ледянке — старом, набитом соломой, залитом водой и замороженном решете. Летом помогал родителям в поле, даже зарабатывал трудодни, сколотив ребят в бригады полотьщиков и сушильщиков сена, но больше времени, конечно, проводил на речке: ловил раков петлей на тухлое мясо и колл вилкой пятнистых пескарей на речной быстринке у парома.

Была у него детская, но вполне определившаяся страсть — любил он машины и готов был целые дни